

Любимый богами господин и царь всей земли, сын великого Хормизда, Хосров Победоносный

Хераклию, бессмысленному и негодному рабу нашему.

Не желая отправлять службу рабскую, ты называешь себя господином и царём. Ты расточаешь сокровища мои, находящиеся у тебя, и подкупаешь рабов моих. Собрав разбойничьи войска, ты не даёшь мне покоя.

Разве я не истребил греков? Ты говоришь, что ты уповаешь на своего бога. Почему же он не спас Кесарию, Хиеросолим и великую Александрию от рук моих? Неужели ты и теперь не знаешь, что я подчинил себе море и сушу? Разве я теперь не могу подкопать Константинополя?

Но я отпускаю тебе все твои преступления. Возьми жену свою и детей и приди сюда. Я дам тебе поля, сады и оливковые деревья, которыми ты сможешь жить, и мы с любовью будем смотреть на тебя. Да не обманет вас тщетная ваша надежда – Христос, который не смог спасти себя от иудеев, которые убили его на кресте. Как же он избавит тебя из рук моих?

Если же ты сойдешь в бездны моря, я протяну руку и схвачу тебя, и тогда увидишь меня, каким бы ты не желал видеть.

Эпилог
Хранить вечно
Италия. Равеннский эскархат. Рома
(DCXIII A. D., Junius-December)

1

Феликс Фортунат, кардинал-викарий, открыл дверь без стука, но тут же, как будто наткнувшись на невидимую преграду, замер на пороге.

– Беда, прímас! – глухо сказал он. – Беда!.. Хиеросолим пал.

У Папы Бонифация тут же болезненно сдавило сердце, но он всё-таки заставил себя выбраться из-за стола и, подойдя вплотную к викарию, пристально взглянул в его, несмотря на раннее утро, уже уставшее, осунувшееся лицо.

– Когда?

– Ещё в начале мая.

– Откуда известие? Из Константинополя?

– Нет. Прямо оттуда. Только что из Остии прибыл человек.

– Кто таков?

– Называет себя Агафоном из Аполлонии. Говорит, что его послал аббá Геласий.

– О, Господи! – всплеснул руками Бонифаций. – От Геласия! Да где же он?! Что же ты?!.. Давай! Давай его скорее сюда!

– Да, примас! – поклонился Феликс. – Конечно.

Викарий вышел, а понтифик, морщась и массируя рукой левую сторону груди, принялся в волнении прохаживаться по кабинету. Ноги сами принесли его к небольшому, висящему в углу распятию, искусно вырезанному из чёрного африканского дерева. «Господи, воля твоя!.. – шептал Бонифаций, осеняя себя крестом и жадно вглядываясь в скорбный лик Спасителя. – Ибо во власти Твоей от века и присно!.. Помилуй нас, грешных, Господи! Сохрани и помилуй нас!..»

Послышались шаги. В открытую дверь кабинета вошёл викарий, за ним в сопровождении двоих стражников следовал очень худой и очень смуглый человек в монашеской рясе из грубой неокрашенной шерсти. Человек шёл, сильно откинувшись назад, неся перед собой небольшой но, похоже, весьма тяжёлый железный ларец, с крышки которого свисало несколько восковых печатей. Дойдя до середины комнаты, человек остановился, нерешительно озираясь.

– Сюда, – показал епископ на свой стол.

Монах подошёл и – как показалось Бонифацию, с облегчением – водрузил ларец на полированную поверхность. Затем он полез себе за пазуху, вытащил и снял через голову серебряную цепочку с висящим на ней массивным ключом и бережно положил её рядом с ларцом. После чего шагнул к понтифику и опустил на колено.

– Благослови, святой отец!

Бонифаций торопливо перекрестил его, дал поцеловать перстень и, подняв за узкие костлявые плечи, усадил на стоящий у стены стул. После чего кивком головы отослал стражу и, с трудом дождавшись, когда за солдатами закроется дверь, нетерпеливо повернулся к раннему гостю:

– Рассказывай!..

Хиеросолим пал на двадцатый первый день осады. Парфянские тяжёлые баллисты в конце концов сделали своё дело – участок крепостной стены рухнул, и штурмовые отряды полководца Шахрбараза, визжа и завывая, словно дикие звери, хлынули в пролом. Началась резня. Дымы от многочисленных пожарищ заслонили небо, день уподобился ночи, и в этой, пропитанной запахами гари и вездесущей смерти, кромешной тьме метались обезумевшие люди: одни ища спасения и нигде не находя его; другие – обгарённые чужой кровью, – иступлённо выискивая себе новых жертв и находя их в изобилии. Людей убивали на улицах и в собственных домах, бегущих догоняли стрелой, смиренно стоящих закалывали без разбору, пробегая. Искавших укрытия в храмах сжигали вместе с храмами или же, ворвавшись внутрь, резали, словно жертвенных животных. Младенцам мозжили о камни головы на глазах их родителей, родителям вспарывали животы на глазах их детей. Девушек и женщин настигали в дыму, валили наземь, наскоро насильовали и, пресытившись, убивали. Кровь, как вода после дождя, текла по булыжным мостовым. Кидронский ручей вспух и на много миль вниз по течению сделался красным. Тысячи и

тысячи трупов лежали по всему городу, в некоторых местах высокими грядами перегораживая улицы так, что через них уже с трудом перебирались утомлённые убийством захватчики.

На третий день Шахрбараз приказал своим воинам прекратить грабежи и резню и через глашатаев объявил о помиловании. Всем уцелевшим жителям было приказано собраться на старом гипподроме. Пришедших переписали. Выяснилось, что из более чем стотысячного христианского населения Хиеросолима в страшном побоище выжило не более тридцати пяти тысяч. Из уцелевших парфяне отобрали ремесленников, а также красивых юношей и девушек, остальных же под конвоем вывели из города и загнали в старый сухой бассейн, расположенный рядом с Иоппийской дорогой в нескольких стадиях от Западных ворот. Несчастные узники думали, что, избежав смерти в жутком побоище, временное пленение они уж как-нибудь переживут. Они считали, что самое страшное для них уже позади. Они ошибались.

Тридцать тысяч человек в глубокой каменной чаше размером сто пятьдесят на сто шагов. Беспощадное солнце сверху. Ни капли воды. Ни крошки еды. Дети, умирающие на руках своих матерей. Мужчины, сходящие с ума от жажды и бросающиеся вверх по единственной лестнице – навстречу последнему удару парфянского меча. Старики, не способные стоять на ногах и насмерть затоптанные очерствевшей до бесчужственности толпой.

И иудеи. Сначала несмело, поодиночке, а потом уже в открытую, целыми семьями, приходящие поглазеть на своих извечных соперников, некогда отобравших у них святой город, а ныне низвергнутых сильным и беспощадным врагом. Пользуясь попустительством парфянских охранников, иудеи открыто издевались над умирающими от жажды христианами, то набирая в рот воды и плюя ею на стоящих внизу людей, то спуская на верёвке вниз кувшин с водой и с хохотом вздёргивая его вверх всякий раз, когда дна его касались отчаянно тянущиеся снизу руки. Были и такие, кто мочился с края бассейна на тесно стоящих внизу людей. «Вот вам вода! – кричали они. – Что же вы отворачиваетесь?! Пейте!..» «Эй, безбожники! – кричали другие. – Отрекитесь от своего Христа! Пока ещё не поздно, обратитесь в истинную веру! И тогда мы выкупим вас у парфян!..» Они трясли своими кошельками, показывая, что у них есть деньги и что они могут купить любого. «Зачем вы мучаете себя?! Зачем вы мучаете своих детей?! – вопрошали они сверху. – Всего одно слово – и вы на свободе! Глупцы! Зачем вы обрекаете себя на смерть?!..» Свобода была близка! Вода и жизнь были всего в нескольких шагах! Достаточно было сказать: «Отрекаюсь!» – и ты был спасён! Но ни один христианин не предал своей веры! Ни единый человек не променял имя Христа на глоток вонючей тепловатой воды. Иудеи злобствовали и швыряли в пленников камни.

И тогда на краю бассейна появился некто Аса бар-Михаэль по кличке Злой Аса. Когда-то он жил в Хиеросолиме, был богат и знатен, но дерзнул открыто выступить против христианской веры, за что был лишён имущества и изгнан из города. И вот теперь он вернулся. Злой Аса был первым, кто выкупил у парфян пленников. Четверых христиан, на которых указал Аса, вывели из котлована и передали в руки покупателю. Теперь они были его рабами, и он мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Но Злому Асе не нужны были рабы. Он покупал христиан не для этого. Отведя пленников на несколько десятков шагов от бассейна, возбуждённый мстостью иудей одного за другим зарубил их мечом, бросив трупы прямо на обочине дороги. Примеру Асы последовали другие иудеи. К заполненному пленными христианами котловану даже выстроилась очередь. Парфянские стражники с ленивым любопытством взирали на эту новую забаву: иудеи выбирали себе жертву, платили за неё деньги, выводили несчастного пленника из бассейна и тут же безжалостно расправлялись с ним...

– Я был возле этого бассейна, – глухо сказал Агафон, он сидел, выпрямившись на стуле, глядя остановившимися глазами прямо перед собой, неподвижное лицо его напоминало посмертную маску. – Я был там через день после того, как парфяне сняли охрану и оставшиеся в живых смогли выбраться из котлована. Трупы в котловане лежали в несколько слоёв. Старики, женщины, дети... – он переглотнул. – И возле котлована. Где их резали иудеи. Их тоже... сотни... – он скрипнул зубами и замолчал.

– Сколько храмов уцелело в городе? – спросил Бонифаций.

Монах покачал головой.

– Ни одного.

– А Храм Святой Гробницы?!

– Осквернён и разрушен... Святое Распятие похищено иноверцами и теперь, наверно, уже доставлено в Ктесифон.

Понтифик хрустнул пальцами.

– Храмы разрушены, загажены, сожжены, – медленно, как будто через силу, продолжал Агафон. – Что не уничтожили парфяне, доломали и разграбили иудеи... Священники и диаконы перебиты почти поголовно...

– И патриарх Захариас... тоже? – тихо спросил викарий; он был бледен и яростно, до белых костяшек, сжимал одну ладонь другой.

– Патриарха Захариаса взяли живым... – хрипло сказал Агафон, он кашлянул, поморщился и облизнул сухие обветренные губы. – Пытали его сильно. Огнём пытали. Глаз один выжгли... А потом тоже увезли в Ктесифон... – он снова откашлялся. – Не знаю, довезли ли. Слаб он после пыток был. Живого места на нём не было.

Монах замолчал, и в комнате воцарилась тишина. Стало слышно, как на карнизе за окном воркуют и хлопают крыльями голуби.

Папа Бонифаций поднялся с кресла и медленно прошёлся по комнате.

– Здесь что? – спросил он, останавливаясь возле стола и кладя ладонь на опечатанный железный ларец.

Агафон пожал плечами.

– Не знаю. Абба Геласий приказал доставить в Рому и передать тебе, святой отец. Он опасался, что лавру захватят парфяне. Сказал: не ешь, не спи, не ходи по нужде, не выпускай из рук, ибо сие есть клад бесценный! Доставь и передай лично – из рук в руки! Вот я и... не сплю и не ем.

Он вяло махнул рукой и вдруг покачнулся, и сразу стало понятно, что этот человек вымотан до предела, что он действительно не спал несколько суток и, наверное, столько же не ел.

Папа Бонифаций сейчас же озаботился.

– Брат Феликс! Отведи брата Агафона в общую, пусть его накормят, определят на прожитие и поставят на кошт.

– Нет! – тяжело, по-лошадиному, мотнул головой Агафон. – Не надо на кошт. Назад поплыву. Абба Геласий наказывал как можно скорее вернуться. Поэтому поплыву!.. Вот только отосплюсь чуток.

– Хорошо-хорошо, – не стал спорить понтифик. – Раз наказывал, стало быть, надо вернуться. Но не сейчас. Не сегодня. Я узнаю насчёт кораблей в Палестину и извещу тебя. А пока ступай. Тебе надо отдохнуть. Ступай, сын мой!.. – Бонифаций осенил Агафона крестным знаменьем. – Бог с тобой! Ступай!.. Феликс!

– Да, примас!.. – поклонился понтифику викарий и, сделав приглашающий жест в сторону гостя, направился к двери: – Пойдём, брат!

Монах тяжело поднялся со стула и, пошатываясь, двинулся следом. Он засыпал на ходу.

– Постой! – вновь окликнул его понтифик. – А скажи, никакого личного послания абба Геласий мне не передавал?

Агафон остановился и медленно, всем корпусом, повернулся к Бонифацию.

– Нет, святой отец. Он хотел написать, но... Не было времени. Я и так уходил через тайный ход – парфяне уже стояли под воротами лавры... – голос монаха сел, и он снова откашлялся. – Абба Геласий сказал: передай ларец Папе Бонифацию. Лично в руки передай. А он уж пускай поступает с ним по своему усмотрению. Больше ничего.

– Так лавру всё же захватили?! – подался вперёд понтифик. – Абба Геласий жив?!

– Не знаю, святой отец, – в голосе монаха прорезалось отчаянье. – Не знаю! Я ушёл, а там... Возможно, абба Геласий приказал впустить парфян в лавру... Парфяне ведь обычно не трогают тех, кто не сопротивляется. Кто сам открывает перед ними ворота. Заходят, грабят, кого-нибудь забирают с собой, но никого не убивают... А в лавре-то и брать особо нечего – ни золота, ни серебра... Ни женщин, – он опустил голову и замолчал.

Молчал и Бонифаций. Феликс Фортунат стоял в дверях и тоже молча переводил взгляд с епископа на монаха и обратно. Голуби за окном хлопали крыльями всё громче.

– Ладно... – наконец очень тихо сказал понтифик. – Ладно... Ступай, брат Агафон. Иди, отдыхай...

Когда шаги ушедших затихли в коридоре, Бонифаций ещё какое-то время стоял, задумчиво глядя в закрытую дверь, а затем повернулся к столу и, взяв лежащий на бумагах нож, срезал с ларца печати. После чего открыл ключом замок и с усилием приподнял тяжёлую крышку. В ларце лежали книжные свитки: два папирусных и несколько пергаментных – все старинные,

пожелтевшие, обветшавшие до ломкости. Понтифик наугад вытащил один из свитков и очень бережно, едва касаясь, слегка развернул – пергамент был густо исписан ровными строчками древнего иудейского письма...

Когда викарий вернулся, папа Бонифаций стоял над раскрытым ларцом и задумчиво барабанил пальцами по его краю. Свитки были разложены по столу, некоторые были изрядно размотаны.

– Феликс! – повернулся понтифик на скрип отворяемой двери. – Отправляйся сейчас же на Яникул. Там, где-то недалеко от Эмилиева моста живёт Барух Книгочей. Толмач. Спросишь – его там все знают. Найди и приведи его сюда. Срочно!

– Иудея?! – изумился викарий.

– Иудея! – подтвердил Бонифаций. – А что ты хочешь?! Где я тебе найду неиудея, знающего иудейское письмо?!

Феликс посмотрел на разложенные на столе свитки.

– Вот именно! – перехватив его взгляд, подтвердил понтифик. – Здесь всё – на иудейском. Причём на старом иудейском. На котором сейчас уже никто не разговаривает. Я бы без промедления швырнул все эти грязные писульки в огонь, если б эта посылка пришла не от Геласия... К тому же, как сказал Агафон, Геласий очень боялся, что эти записи попадут в руки парфян. А стало быть, в них заключены не иудейские тайны, а наши! Понимаешь?!.. Поэтому давай отправляйся на Яникул и без этого толмача-иудея не возвращайся. Этот Барух Книгочей – знаток языков. Он лучший толмач во всей Италии. Он служил прежнему экзарху в Равенне, но с нынешним, – Бонифаций усмехнулся, – видать, не сошёлся характерами – Лемигий прогнал его. Короче, найдёшь этого Баруха – скажи ему, что есть работа. По специальности. Мол, надо перевести пару рукописей. Предложи хорошие деньги. Половину заплати сразу. Да! Моего имени не называй! Просто скажи, что в обитель привезли несколько новых книг из... Скажем, из Александрии... Ты всё понял?

Викарий молча кивнул, сосредоточенно глядя на стоящий на столе распахнутый ларец, словно тайна, привезённая Агафоном из далёкой Палестины, пряталась сейчас на его дне и в любой момент могла выглянуть наружу. Потом он спохватился и, сложив ладони, поклонился понтифику:

– Да, примас. Конечно. Будет исполнено...

2

– Почта, святой отец!

Вошедший монах положил на стол перед Бонифацием две запечатанные церы.

– Спасибо, сын мой! – осенил его крестным знаменьем понтифик. – Благослови тебя Господь, брат Луций!.. Спасибо! Ступай...

Монах поклонился и вышел. Епископ отложил в сторону недочитанный книжный свиток, пододвинул к себе церы и снял печати.

Первое письмо оказалось пустым: епископ Калабрии запоздало поздравлял с Пятидесятницей и жаловался на местного дукса, который, «...преисполняясь чёрной завистью и алчностью...», отобрал у прихода лучший виноградник.

А вот второе послание было любопытным. Оно пришло из Бóбиума от преподобного Колумбана, который в первых строках витиевато выразив почтение «...облечённому славой Верховному Понтифику, величайшему в деяниях Примасу Италии и достойнейшему Епископу Романскому...», далее пространно, на четырёх страницах, обосновывал ошибочность решений Пятого Вселенского Собора и убеждал «...защиту и опору нашу пред ликом Господним, любезного Викария Христа...» вернуться к рассмотрению эдикта императора Юстиниана о пресловутых «Трёх главах», – который, мало того что «...нетерпимостью своею почтенных мужей церковных низводит до чина вероотступников...», но и «...единению всех добрых христиан рукотворные препоны возводит...» Бонифаций дочитал письмо до конца, оттолкнул от себя церу, встал и в раздражении прошёлся по комнате.

Шестьдесят лет уже прошло с Константинопольского Вселенского собора, а споры, порождённые его постановлениями, не утихли до сих пор. Только-только преодолён раскол в Далмации, вызванный изгнанием одиозного епископа Фронтіна Салонского, а уже с юга летят известия о том, что собранный Патриархом Григóriосом Поместный собор Восточной церкви

именует всех приверженцев эдикта Юстиниана не иначе как вероотступниками. То есть рана ещё кровоточит, розовая корочка, едва покрывающая её, ещё совсем тонка и непрочна, а тут появляется этот сиволапый хиберниец Колумбан и начинает сладострастно ковырять её, тычет в неё своим корявым пальцем!..

Ересь! Ересь разъедает веру, как ржа – железо! Ничего нет опаснее ереси! Она коварна и вездесуща. Она рядится в ризы благочиния и, нацепив любезную улыбку, входит в церковный притвор. Она ползуча и вкрадчива. Она медленно, исподволь, как спорынная плесень на зерне, прорастает на человеческом невежестве, а потом однажды приходит некто, возмнивший, что он познал Истину, наивный в своих заблуждениях, или же, наоборот, хитрый и расчётливый, алчущий власти и поклонения, приходит и говорит: «Ешьте хлеб сей! Ибо он от Бога!», и люди едят этот отравленный хлеб и слепнут и сходят с ума. Ересь ненасытна. Начав с малого, с неверно понятого слова, с неправильно истолкованного деяния, она растёт исподволь, медленно, она ползёт, как слабый побег хмеля ползёт по стволу ещё ничего не подозревающего, но уже обречённого дерева. Не встречая сопротивления, она постепенно крепнет, обрастает слухами и домыслами, как дно судна обрастает мешающими ему в движении водорослями и ракушками. Подогреваемая злыми шепотками, она доходит и зреет, и наконец вскипает, вынося на поверхность мусор и донную гниль. Она клокочет. Она бурлит и пенится, как скисшая на солнце пивная брага. Она ищет выхода и, не найдя его, взрывает изнутри хрупкий церковный сосуд. И тогда бешеный мутный поток устремляется во все стороны, захлёстывая всё на своём пути, сбивая с ног нестойких и топя в своей пучине не умеющих плавать – как переполненное дождями горное озеро, прорвав запруды, устремляется вниз, увлекая за собой грязь и камни, и вырванные с корнем кусты, и поваленные деревья, неся в расположенную внизу цветущую долину смерть и разрушения...

С Колумбаном всё понятно. За свой неуживчивый склочный характер этот вздорный старик был изгнан сначала из Нейстрии, затем из Алемании и лишь пару лет назад, перебравшись через Альпы, нашёл прибежище у короля «длиннобородых» Агилульфа. Последний, разумеется, приютил у себя известного проповедника не просто так. Он, наверняка, рассчитывает в дальнейшем, используя его авторитет в церковном мире – особенно в северных землях, – упрочить и своё положение. Довольно, кстати, шаткое, ввиду того, что сам Агилульф оказался нынче как бы сидящим между двух стульев. С одной стороны, для того, чтоб жениться на вдове короля Аутари, несравненной Теоделинде (что, собственно, и принесло ему корону), ему пришлось отречься от веры своих соплеменников. А с другой, – стать полноценным христианином ему как раз и мешает решение Пятого Вселенского Собора относительно приснопамятных «Трёх глав». Теперь же, вступив в затяжную войну с Византийским императором, хитроумный король «длиннобородых», скорее всего, рассчитывает сыграть на противоречиях РOME и Константинополя. Он хочет перетянуть на свою сторону его, Примааса Италии, прикрыться его высоким титулом, его добрым именем и авторитетом, для чего и заставляет несчастного старика писать эти вздорные письма. От этой нехитрой комбинации за милую душу несёт нечистым духом, и вряд ли достаточно поживший на свете, повидавший мир и знающий людей Колумбан не чувствует этого. Не понимает, что он – всего лишь мелкая разменная монета в этой грязноватой, чреватой обильной кровью, игре. Конечно, чувствует и, конечно, понимает. Да, видать, очень уж сильно хочет прожить последние, отмерянные ему Господом, годы в сытости, в тепле и уюте...

Да, ересь. Повсюду таится ересь. Хитроумное изобретение Врага рода человеческого. Порождение сопутствующей ему тьмы. И бороться с нею можно лишь светом. Ярким светом, который несёт очистительный огонь истинной веры. Выжигать! Истреблять и выжигать! Бесстрастно, планомерно и беспощадно! До жарких, мерцающих рубиновым светом, углей! До раздуваемого свежим ветром, летучего чёрного пепла!..

В дверь постучали. Вошёл Феликс Фортунат. Он буквально светился от радости.

– Прости! Прости, что побеспокоил, примас! Но я подумал, что ты должен это увидеть! – он, торжественно улыбаясь, протянул понтифику свёрнутый папирус. – Хиеросолимские свитки оказались пронумерованными. Я приказал Баруху начинать работу с первого. Это то, что он успел перевести на сегодняшний день. Взгляни!

Бонифаций принял у викария совсем новый, ещё не утративший своего горьковатого землистого запаха, лист папируса и развернул его.

Ровные ряды строчек. Аккуратные, ладно выписанные греческие буквы. А у этого иудей-толмача, оказывается, хороший почерк!..

«В семнадцатый год правления Кесаря Тиберия, месяца сивана, двадцать второго числа. Прибыл из кипрейского Пафоса Иосеф бар-Нэхэмья, родом левит. Принёс от продажи земель своих и скота своего, и рабов своих, нажитое трудами – 5000 денариев без малого. Принят в общину с радостью, ибо, от богатств отрехшись, очистился, душу свою открыв слову истины и уверовав в чудесное Иисуса Христа, Помазанника Божьего, воскрешение.

Писано в доме Лазароса в Бифании. К сему руку приложили Симон Кефа и брат его Андреас, и Филиппос, и Нафан апостолы».

Взгляд понтифика скользнул ниже.

«...месяца тамуза, четвёртого числа...»

«...месяца тамуза, пятнадцатого числа...»

«...месяца тамуза, двадцать восьмого числа...»

«...месяца ава третьего числа...»

Бонифаций оторвался от рукописи и ошарашенно посмотрел на викария.

– Так это же!..

– Да! – восторженно сказал Феликс. – Это – хронология! Летопись первой христианской общины. Написана кем-то из апостолов.

Бонифаций почувствовал слабость в ногах и присел на стул, на котором несколько дней тому назад сидел смуглолицый Агафон, привезший из Хиеросолима эти, сколь бесценные, столь и, как выясняется, весьма небезопасные свитки. «Вот оно!.. Вот оно!.. Вот оно!.. – застучало в висках у понтифика. – Господи, воля твоя! Помилуй нас грешных! Новое испытание шлешь нам! За что?! Неужто службою своей непрестанной милости Твоей не снискали?!..»

Он опомнился.

– Кто ещё знает об этом?!

Феликс пожал плечами, он всё ещё улыбался.

– Никто... Если, конечно, этот дурнопахнущий иудей не успел растрепать обо всём у себя на Яникуле.

Понтифик поднялся и, подойдя вплотную к викарию, упёрся пальцем ему в грудь.

– Иудея запереть! – звенящим шёпотом приказал он. – Слышишь?!.. В келью без окон! Обещать ему двойную – да хоть десятичную! – оплату, но запереть! Чтоб жил, спал, ел только там, где и работает! Даже до ветра не выпускать! Пусть гадит в горшок! Ничего! За такие деньги можно и под замком посидеть, и собственное дерьмо понюхать!.. И чтоб ни одна живая душа к нему не входила! Да что там не входила, чтоб даже не заговаривала! Причём не только из посторонних, но и из братии! Слышишь?!.. За это отвечаешь лично!.. Пришлешь ко мне начальника стражи – я его тоже настропаю.

С лица викария медленно сползла улыбка, он непонимающе захлопал глазами.

– Прости, примас, но... зачем всё это? К чему такая секретность? Ну ладно, от посторонних, но чтоб от братии скрывать...

Бонифаций удивлённо задрал брови.

– А ты что, не понимаешь?!.. – он потряс развёрнутым свитком перед носом викария. – Ты не понимаешь опасности вот этого?!

Феликс недоумённо пожал плечами.

– А что в этом такого? Ну, летопись. Апостолами писана. Возможно, самим Святым Петросом...

Понтифик замахал на него руками.

– Молчи! Молчи! Даже вслух не произноси! Ты не понимаешь!.. – он снова затряс папирусом. – Это же!.. Это – пифос Пандоры! В нём заключена тысяча несчастий! Только открой – и они разлетятся по миру!

Викарий напряжённо рассмеялся.

– Надеюсь, ты шутишь, примас? Это же всего-навсего рукопись. И она бесценна! Вот это я понимаю! Она, возможно, прольёт свет на многое из того, что до сих пор оставалось неизвестным. Что было покрыто мраком незнания. Ты только представь, примас, святые апостолы её строками говорят с нами из прошлого!

– И ты полагаешь, что от этого всем будет польза? – скептически глядя на викария, спросил Бонифаций; он уже успокоился.

– Ну, разумеется! – с воодушевлением воскликнул Феликс. – Мы же многого не знаем о тех днях! Да что там! Мы почти ничего не знаем! Разрозненные записи, причём сделанные уже задним

числом, через многие десятки, а то и через сотни лет! А это!.. – он протянул руку к свитку. – Это – свидетельства очевидцев! Это – слова святых людей!

– Это – слова ЖИВЫХ людей, – наставительно поправил викария понтифик. – Прежде всего – живых. Каждый апостол был когда-то живым – простым, обыкновенным человеком, – не забывай об этом. А простому человеку, как известно, присущи человеческие слова и поступки. И слабости человеческие им тоже присущи. И эти слова и поступки, и – в особенности! – слабости могут иногда оказаться... как бы это сказать... сомнительными. И даже неблагоприятными... с нашей точки зрения! Поскольку они... человеческие. Понимаешь?!.. Они могут даже оказаться вовсе несовместимыми с его последующим святым статусом. Разве такая очевидная вещь не приходила тебе в голову?! Разве ты не понимаешь всю опасность этого?!

– Но это же всё – правда! – Феликс снова указал на рукопись. – Разве правда может быть... опасна?!

Бонифаций с грустью посмотрел на викария.

– Мне жаль, – качая головой, медленно сказал он. – Мне жаль, брат Феликс, что ты не понимаешь таких простых вещей... – понтифик вернулся на своё место и, усевшись, кинул свиток на стол. – Правда хороша только для тех, кто не обделён умом и стоек в своей вере... – он кивнул на рукопись. – Для нас с тобой эти свидетельства бесценны, ибо в них заключена правда жизни. И мы с тобой уж как-нибудь сумеем отделить чистое зерно от тех плевел, которые могут оказаться вместе с ним. Но смогут ли это сделать другие?.. Скажи, брат Феликс, о чём подумает безграмотный горожанин или – неважно – крестьянин, когда узнает, что... что кто-то из апостолов, к примеру, был нечист на руку?! Или, например, громко рыгал за столом?!..

Викарий сделал протестующий жест, но понтифик не дал ему говорить.

– Я сказал: к примеру! К примеру! Они ведь все были живыми людьми! Не забывай об этом!.. Возможно – возможно! – в этой летописи ничего подобного нет. Возможно... А если есть?!.. А если, не дай Бог, там есть что-то и о Христе?! Что-то такое, что было очевидным, совершенно понятным и ничуть не примечательным для его учеников, для тех, кто знал его многие годы, кто видел его изо дня в день, и на что они, считая это рядовым, обыденным, не обращали никакого внимания. Но о чём даже нам с тобой лучше было бы не знать вовсе! Ты разве не допускаешь подобного, брат Феликс?!.. А теперь представь, что будет, если об этом узнают простые прихожане?! Безграмотные и порой не особо стойкие в своей вере?!.. А ещё представь, что будет, если об этом узнают наши враги?! Те, кто спит и видит нашу веру опороченной, а наших святых низвергнутыми и втоптаннами в грязь! Ты об этом подумал, брат Феликс?!..

Викарий не ответил.

– Правда опасна, – продолжал Бонифаций, ему не сиделось, он вновь встал и принялся вышагивать по комнате. – Она опасна тем, что сплошь и рядом вызывает вопросы... Порой очень неудобные вопросы. А неудобные вопросы, в свою очередь, порождают в неокрепших умах сомнение. А сомнение всегда подрывает веру... Точно так же, как вздувшаяся после дождя река подрывает высокий песчаный берег... Сомнение – вот самая страшная напасть! Враги могут захватить Святой Город, враги могут осквернить и разрушить храмы. Они могут даже похитить символ веры – Святое Распятие! Но до тех пор, пока вера живёт в сердце каждого христианина, она непоколебима и неуязвима для врага!.. Но стоит сомнению проникнуть сюда, – понтифик приложил ладонь к левой стороне груди, – всё! Всё! Считай пропало! Вера начинает дрожать и колебаться, как... как одинокое дерево дрожит и колеблется под порывами свирепого ветра... Ветер неистов и неистощим, и если дерево здорово, оно сможет противостоять натиску ветра и пережить ненастье. Но если оно больно... – епископ горько покачал головой. – Если дерево больно, участь его предрешена. Ветер станет гнуть его, и оно будет сгибаться всё ниже и ниже, до тех пор, пока корни его не оторвутся от земли. И тогда дерево упадёт! Вера рухнет! Как... низвергнутая землетрясением каменная башня. Как... подточенный речным потоком уступ. Он ещё вчера казался недосыгаемым для волн, а потому незыблемым. И вдруг, в одночасье, подрезанный волнами, он оседает и рушится, увлекая за собой несчастных, стоящих на нём. Рушится в мутные бурные волны!.. – понтифик остановился и, переводя дух, взглянул на викария. – Ты следишь за ходом моей мысли, брат Феликс?..

Викарий, отрешённо глядя перед собой, снова промолчал, но тут же, словно очнувшись, встрепенулся и принялся истово кивать.

– Правда – это тяжёлая ноша, – неодобрительно покачав головой, подытожил Бонифаций. – Не всякий способен её нести. Особенно, если этой ношей нельзя ни с кем поделиться, переложить

её на чьи-нибудь плечи... Правда для неокрепших умов столь же опасна, сколь опасен аспид, заползший в колыбель к спящему младенцу. Ты знаешь, брат Феликс, что надо делать, если в колыбель к младенцу заползла змея?

– Я... – растерянно пожал плечами викарий. – Мне как-то не приходилось... У меня ведь нет детей, примас.

– У меня их тоже, как тебе известно, нет, – строго сказал понтифик. – Но я, тем не менее, знаю, как следует поступать в подобных случаях. Поэтому слушай и запоминай... Во-первых, брат Феликс, ребёнка нельзя будить. Как и нельзя пытаться вытащить его из колыбели. Ребёнок может проснуться, пошевелиться – и гадюка ужалит его. Во-вторых, брат Феликс, ни в коем случае нельзя пытаться убить змею прямо там, на месте. Можно промахнуться, можно только ранить аспида – в результате опять пострадает ребёнок... И ждать, ничего не предпринимая, надеясь на то, что змея уползёт сама и всё обойдётся, тоже нельзя. Змея не уползёт! Ей тепло возле ребёнка и она будет греться, она будет спать на его груди до тех пор, пока он не проснётся. А когда он проснётся – она ужалит его!.. Есть только один способ, брат Феликс, только одно единственно правильное действие, чтобы ребёнок не пострадал. Знаешь, какое?.. Надо чем-нибудь накрыть гадюку. Накрыть! Понимаешь?!.. Горшком, овчиной, рогожей – неважно! Главное – накрыть! И тогда у тебя появится время. И для того, чтобы спасти ребёнка, вытащив его из колыбели. И для того, чтобы, если это всё ещё необходимо, гадюку в конце концов убить, уничтожить... Ты улавливаешь мою мысль, брат Феликс?.. Ребёнок в колыбели – это наша с тобой вера. А это... – Бонифаций подошёл и осторожно, кончиками пальцев, прикоснулся к лежащей на столе рукописи. – А это – та самая змея, яд которой может быть смертельно опасным для него... Поэтому делай то, что я тебе говорю, – он подтолкнул свиток по столу в сторону викария. – Пусть толмач продолжает работу. Пусть переводит всё точно, слово в слово. Но, ради всех святых, брат Феликс, затвори этого иудея на сотню замков! Накрой его горшком! Накинь на него рогожу! Чтоб ни одна живая душа – слышишь?! – ни один человек не то чтобы не знал – даже не догадывался о содержании этой рукописи!..

3

В последний день ноября Феликс Фортунат принёс понтифику последнюю, девятую, часть переведённой летописи.

– Всё, примас, – тихо сказал викарий, кладя на стол перед епископом два свитка: новый и старый – перевод и оригинал. – Это – всё. Барух закончил работу.

Бонифаций испытующе взглянул на Феликса. Они оба уже знали содержание предыдущих восьми свитков, и викарий понимал – должен был понимать! – что в том памятном летнем разговоре понтифик оказался безусловно прав: истина, вынесенная на свет древней рукописью, оказалась столь груба и неудобна, она была столь обременена нелюбимыми подробностями, столь неуместна здесь и сейчас, что скрыть её, утаить от огласки, положить до лучших времён под спуд – было бы самым лучшим, правильным, более того – единственно правильным решением из всех возможных.

– Хорошо... – Бонифаций встал из-за стола и прошёлся по комнате. – Хорошо, Феликс.

– Как быть... с иудеем? – также тихо спросил викарий.

Да! Он понимал! Он всё понимал, и слова теперь уже ничего не значили, никаких слов уже можно было не произносить – они оба знали и этот, повисший в воздухе, неудобный вопрос, и очевидный, и беспощадный в своей очевидности, ответ на него.

Понтифик рассеянно пожал плечами.

– С иудеем?.. А что с иудеем? С иудеем надо расплатиться... Сполна расплатиться. Ты... Ты понимаешь меня?

Викарий молчал. Да. Разумеется, он всё понимал.

– Это... Это должен сделать... я? – наконец еле слышно произнёс он.

Понтифик остановился напротив своего помощника. На улице лил дождь, и в комнате было сумрачно, почти темно. Бледное лицо викария висело перед епископом, как раскрашенная белилами театральная маска – с глубокими провалами глазниц и с резкой чёрной щелью скорбного рта.

– Идёт война, брат Феликс, – мягко, но непреклонно сказал Бонифаций. – Война за нашу с тобой веру. И ты – солдат на этой войне... Не надо никого больше впутывать в эту историю, брат Феликс. Понимаешь?.. Не надо перекладывать грех на постороннего.

Викарий опустил голову.

– Я... Я не смогу... Не сумею.

– Сможешь! – решительно сказал епископ. – Ты не должен испытывать ни сомнений, ни жалости. Как солдат на поле брани не испытывает жалости к своему врагу. Это враг, брат Феликс! Понимаешь?! Это – твой враг!.. Вспомни рассказ брата Агафона! Вспомни Хиеросолим! Разве кровь безвинно убиенных не толкает тебя в сердце?! Разве предсмертные крики младенцев не звучат в твоих ушах?!.. Вспомни сухой бассейн возле Иоппийской дороги и иудеев, мочащихся на стоящих внизу христиан! На твоих, брат Феликс, единоверцев! Вспомни это! И отомсти!

Щёки викария вспыхнули, он вскинул голову, но тут же вновь бессильно уронил её, потух.

– Но я... Ведь это... Грех же это!.. Как же я после этого?.. – викарий попытался внятно сформулировать свой вопрос, но не сумел и, гулко переглотив, снова замолчал.

Бонифаций положил руку ему на плечо.

– За грехи не надо беспокоиться, брат Феликс. Ты же знаешь: не согрешишь – не покаешься... А этот грех... Этот грех я тебе отпущу. Я возьму его на себя... Господь рассудит и простит нас с тобой, брат Феликс! Ибо Он в безграничной мудрости своей всё видит и всё понимает... И Он, конечно, понимает, что совершаем мы этот грех не из корысти и не из собственной прихоти, а только ради торжества праведной веры! Истинной веры! Нашей с тобой веры, брат Феликс!.. Так что не сомневайся. Иди... Иди, брат Феликс! Господь всё видит! И Господь простит нас! В этой кровавой драке Господь на нашей с тобой стороне!..

Следующим утром труп Баруха Книгочей – перемазанный тиной, с проломленной головой – нашли на берегу Тибра, двумя стадиями ниже моста Феодосия.

А ещё двое суток спустя кардинал-викарий Феликс Фортунат неожиданно для всех скончался от скоротечной желудочной лихорадки.

Папа Бонифаций был безутешен. Когда ему сообщили о смерти викария, он горько разрыдался, а потом, после отпевания, всю ночь простоял на коленях у гроба покойного – в тёмном и гулком, как пещера, пустом зале Латеранской базилики.

После похорон, вечером, понтифик вызвал к себе начальника стражи и приказал готовить повозку.

– Поеду к Святому Петросу, Ленат, – грустно сказал командиру буцеллэриев Бонифаций. – Замаливать грехи... Много грехов на мне, Ленат! Ох, много!..

Выехали уже в густых зимних сумерках. Моросил мерзкий промозглый дождь. Было зябко. Понтифик, кутаясь в толстый шерстяной плащ, сонно клевал носом, равнодушно поглядывая из-под полуприкрытых век на проплывающие мимо мрачные громады домов. Повозка, погромыхая по разбитой булыжной мостовой, медленно пробиралась вслед за качающимися впереди факелами передового охранения. То и дело, привлечённые звуком её колёс, из тёмных поперечных переулков высывались рожи совершенно разбойничьего вида, но увидав многочисленную охрану, сопровождавшую повозку, разочарованно утягивались обратно.

Места здесь, хоть и в самом центре города, были совсем глухие. Целые кварталы некогда густонаселённой столицы великой империи ныне пустовали, и в каждом таком пустующем квартале обязательно лихоедействовала своя разбойничья шайка. А порой и не одна.

Обогнули мрачную громаду Большого Цирка, проехали у подножия Капитолия и через ворота Кармэнты в древней полуразрушенной Сервиевой стене выехали на Марсово Поле. Полем эту часть города называли исключительно по привычке. Ныне здесь, в наспех сооружённых, жмущихся друг к другу, разновеликих многоэтажных домах, проживала основная часть населения Румы, что обуславливалось близостью реки – акведуки, несущие воду в город от дальних источников большей своей частью пришли в негодность, и для обитателей Авентина, Циспия и других городских холмов воды теперь вечно не хватало. Здесь кипела жизнь: тесные кривые улочки были заполнены людьми, за столами возле открытых попин сидели шумные хмельные компании, звучала музыка, пахло печёными каштанами и жареным на углях мясом. Сизый горьковатый дым тёк от многочисленных жаровен, висел слоями, зажатый каменными боками домов, жёстким голубиным пёрышком щекотал горло.

Передвигаться верхом, а тем более на повозке, здесь было затруднительно. Узкие улочки заставили небольшую процессию вытянуться, боковое охранение вынужденно свалилось назад – за папскую двуколку, и вплотную к бортам коляски придвинулись угрюмые фигуры обитателей

местных трущоб: бредущие, стоящие, угловатые, облепленные ветхой, промокшей под дождём, потемневшей одеждой. На повозку косились, испуганно шарахались от неё, прижимаясь к стенам домов, глухо и невнятно ругались вслед, наткнувшись на её твёрдые углы. Какая-то злобная оскаленная физиономия, сплошь заросшая чёрной неопрятной бородой, в надвинутом по самые глаза капюшоне, сунулась, что-то угрожающе бормоча, в двуколку, но, опознав пассажира, испуганно прынула назад и, поспешно обнажив голову, упала прямо в грязь на колени:

– Благослови, святой отец!

Бонифаций, не глядя, отмахнулся крестным знаменем.

Улица вывела к берегу Тибра – к пустому и тёмному, не освещённому ни единым факелом, старому Элиевому мосту. На той стороне реки, на фоне фиолетово-серого неба, мрачно чернела цилиндрическая громада замка Святого Ангела – бывшей усыпальницы романских императоров.

Ворота замка ещё были открыты, и привратная стража беспрепятственно пропустила небольшую процессию внутрь. Сразу за крепостной стеной повернули налево и через узкие Западные ворота, тоже ещё не запёртые, выбрались на Корнелиеву дорогу, ведущую через обширный пустырь к базилике Святого Петра.

Здесь повсю хозяйничала непогода, хлипкая крыша повозки перестала спасать от косога секущего дождя, и Бонифаций совсем утонул в своём колючем груботканном плаще. Благо, ехать было не так уж далеко.

Остановились перед широкой мраморной лестницей, ведущей в храм. Понтифик тяжело выбрался из двуколки и потянул за собой с сиденья объёмную кожаную суму. Командир буцеллариюв сейчас же шагнул к епископу:

– Помочь, святой отец?

– Нет, Ленат, – водружая мешок на плечо, покачал головой Бонифаций. – Я сам. Дальше – я сам. Спасибо... Распорядись лучше насчёт ночлега. Обратно поедем на рассвете.

– Да, святой отец! – коротко, по-военному, кивнул начальник стражи и, ладонью стерев с лица воду, отправился выполнять приказание.

Понтифик медленно поднялся по ступеням. У дверей базилики его уже ждали: пресвитер храма Хонорий – моложавый, рослый, широкоплечий и двое продрогших служек с факелами, пламя которых нещадно трепал налетающий порывами холодный ветер.

– Благослови, святой отец! – низко склонился пресвитер, принимая руку понтифика.

Служки преклонили колени.

– Господь с тобой, брат Хонорий... Господь с вами, дети мои...

Бухнула тяжёлая дверь. Непогода осталась снаружи.

– Обогреться, святой отец? Трапезничать?

– Спасибо, брат Хонорий. Позже. Сначала – дело. Я приехал исповедаться.

На лице пресвитера проступило смятение.

– Святой отец, но...

– Нет-нет, – устало улыбнулся Бонифаций, – не волнуйся, брат Хонорий, я буду исповедоваться у Святого Петра. Прикажи принести мне два полностью заправленных факела.

– Будет сделано, святой отец, – с облегчением наклонил голову пресвитер. – Прикажешь сопроводить?

– Нет. Только факелы... Да, и проследи, чтобы мне не мешали, чтобы никого из посторонних не было поблизости.

– Разумеется, святой отец...

Когда Хонорий со служками покинул базилику, Бонифаций какое-то время сидел на жёсткой скамье, прислушиваясь к шелесту дождя и завываниям ветра снаружи, а потом решительно поднялся, зажёл один из принесённых ему факелов, второй сунул под мышку и, повесив на плечо свою сумку, прошёл в пресвитерий. Зайдя за невысокое ограждение, он спустился по покрытым красным ковром широким пологим ступеням и очутился у основания алтаря, перед небольшой малоприметной дверцей, запёртой на простенький засов. Сразу за дверцей обнаружилась деревянная скрипучая лестница, круто уходящая вниз.

В подвале храма пахло пылью. Здесь было сухо и тихо – звуки непогоды сюда уже не проникали. Помещение под алтарём оказалось небольшим, с очень низким потолком, и практически квадратным – примерно десять на десять шагов, и имело деревянный пол. В центре зала в полу был оставлен небольшой люк, огороженный низеньким заборчиком. Бонифаций подошёл к загородке, воткнул факел в стоящий тут же бронзовый треножник и тяжело опустился

на колени. В люке, внизу, совсем близко, на расстоянии пары ладоней, виднелась плоская крыша склепа, сложенного из больших, грубо отёсанных каменных плит, когда-то давно, очень давно покрытых красно-белой, местами уже осыпавшейся, штукатуркой.

Там, внизу, под землёй, под тяжёлыми каменными плитами, лежал тот, чьи прижизненные деяния много веков назад неоднократно спасали, тогда ещё совсем молодую, неокрепшую и неоперившуюся христианскую веру, и чей посмертный дар позволил этой вере выжить, постепенно окрепнуть и в конце концов, гордо подняв голову, встать на крыло. Там лежал тот, кто стал прочным фундаментом, опорным камнем величественного храма, возводимого тяжкими трудами, обильным потом и безвинно пролитой кровью многих и многих последующих поколений известных, прославленных, великих, но чаще – разумеется, гораздо чаще! – простых и скромных, никому не ведомых строителей.

Там лежал тот, о ком очень много говорили, но слишком мало знали. Его образ был одновременно прост и загадочен. Во всех эпизодах и перипетиях той далёкой, ныне легендарной эпохи он стоял несколько особняком, порой даже казалось – вне их, но тем не менее его слова и его поступки всегда оказывались ключевыми, определяющими, меняющими ход событий. Сын рыбака, ставший солдатом, и солдат, ставший проповедником. Церковным отцам в своё время пришлось немало потрудиться, чтобы втиснуть его угловатую фигуру в рамки той буколической картинки, которую они изображали, живописуя историю зарождения первой христианской общины. Но он всё равно оставался слишком велик и слишком непросто для неё. И безусловно, именно он являлся сейчас главным посредником между учениками и их Учителем, между земным и горним, между человеком и небесным Господином его. Ибо так же, как и у незабвенного Учителя, ноги его прочно стояли на земле, а взгляд был устремлён в небо. А потому именно ему, по глубокому убеждению Бонифация, надлежало исповедоваться и именно у него следовало просить совета...

Когда пламя светильника начало трещать и помаргивать, понтифик, кряхтя, поднялся с колен, зажгёт от гаснущего факела второй, запасной, подобрал с пола свою суму и, огибая люк, направился к северной стене подземной залы – к низенькой деревянной двери – одной из нескольких, ведущих прочь из подальтарного помещения. За дверью потянулись друг за другом несколько небольших, расположенных анфиладой, комнат – пыльных и захламлённых, заставленных старой мебелью, отслужившими своё светильниками, поломанными рипидами и хоругвями и прочей, отслужившей своё, церковной утварью. В самой дальней, последней комнате, за пыльной шторой, обнаружилась ещё одна дверь – на этот раз большая, массивная, обитая толстыми, позеленевшими от времени, медными листами. Бонифаций упёрся одной рукой в стену, а другой с натугой потянул за угловатую холодную скобу.

В лицо ему пахло затхлостью и вековой могильной сыростью. Вниз вели крутые, покрытые неопрятной чёрной плесенью, каменные ступени.

Придерживаясь за ветхие гнилые перила, понтифик осторожно спустился по лестнице и оказался как бы на узкой – всего пару локтей шириной – подземной улице, по обе стороны которой вместо домов стояли, тесно прижимаясь друг к другу, многочисленные усыпальницы, длинные фамильные склепы и крипты – разновеликие и порой самых причудливых форм. Бонифаций двинулся по этой «улице» и вскоре остановился перед неприметным кирпичным склепом, зажатым с двух сторон роскошными беломраморными усыпальницами. Вместо двери входной проём склепа загораживала толстая, вся обросшая бурой чешуйчатой ржавчиной, железная решётка. За решёткой, в глубине склепа, виднелось высокое надгробие.

Бонифаций плечом надавил на пронзительно заскрипевшую решётку и вошёл внутрь. Протиснувшись мимо надгробия, он оказался у задней стены склепа. Здесь обнаружилась мощная, прочно вмурованная в стену, железная дверь, выглядевшая, в отличие от входной решётки, совсем новой.

Здесь начиналась папская вотчина, территория, принадлежащая исключительно ему – Примасу Италии и Великому Понтифику, территория, куда никто из простых смертных не имел права – да и, при всём желании, не мог! – войти.

Бонифаций воткнул факел в настенное кольцо, снял с плеча мешок, покопался в нём и извлёк на свет небольшую, завёрнутую в тряпицу, оловянную маслёнку с длинным и узким, плотно заткнутым пробкой, носиком. Епископ откупорил маслёнку, старательно смазал петли двери и пролил несколько капель в специальное отверстие чуть выше замочной скважины. После чего взял в руки тряпицу, обильно смочил её маслом и тщательно, сверху донизу, протёр ею всю дверь –

границу, заслон от посторонних, следовало содержать в исправном состоянии. Закончив процедуру, Бонифаций сунул руку под плащ и вытащил наружу длинную серебряную цепочку, на которой висели два ключа: один большой – с плоским массивным туловом и вычурной резной бородкой; другой чуть поменьше – совсем простой на вид, похожий на сильно удлинённую букву «L». Понтифик вставил большой ключ в скважину и несколько раз провернул. Хорошо смазанный замок поддавался без усилий. Открыв дверь, понтифик, не спеша, повторил все действия по смазке и уходу и с её внутренней стороной, после чего закупорил маслёнку, спрятал её обратно в суму, снял со стены факел и, плотно притворив за собой дверь, запер её на засов.

За дверью начинался неширокий коридор, стены которого были сложены из обожжённого кирпича, а потолок сделан из плотно пригнанных друг к другу, массивных дубовых балок. Через несколько десятков шагов подземный ход плавно перешёл в прорубленную в известняке штольню. Потолок здесь стал значительно ниже, и идти приходилось слегка пригнувшись. Пламя факела лизало каменный свод, оставляя на нём чёрные жирные следы копоти.

Бонифаций шёл медленно, глядя себе под ноги. Шаркающие шаги его порождали в подземелье негромкое, быстро затихающее эхо. Идти было не так чтоб уж очень далеко, но понтифик как-то сразу устал – путь давался ему трудно: непроглядная тьма впереди и сзади и низкий каменный потолок действовали на епископа угнетающе, давили; шелестящее эхо заставляло напряжённо прислушиваться. Да и дышалось здесь тяжело – воздух был затхлым, застоявшимся, как будто замешанным на этой, густой и липкой, непроглядной тьме.

Наконец впереди замаячило серое пятно, и бесконечный каменный коридор закончился. Бонифаций вышел на перекрёсток: штольня, по которой он шёл, почти под прямым углом втыкалась в точно такую же выработку. Слева, всего в нескольких шагах от перекрёстка, подземный коридор упирался в глухой каменный завал. Справа проход перегораживала стена.

Стена была старинная, сложенная из массивных каменных блоков. По центру из стены торчали два бронзовых кольца – держатели для факелов. Бонифаций сунул факел в левое кольцо и принялся поочередно нажимать на края кирпичей в четырёх углах стены. Правый нижний кирпич никак не хотел сдвигаться с места, и понтифику пришлось опуститься на колени. Он весь вспотел, пытаясь вдавить в стену непослушный камень. Наконец механизм поддавался, и край кирпича плавно ушёл вовнутрь. Бонифаций, цепляясь за стену, медленно поднялся. Дышал он тяжело, с присвистом. Пот обильно катился у него по вискам. Сердце болезненно толкалось в груди. Слегка отдышавшись, епископ ухватился обеими руками за свободное кольцо и с усилием толкнул стену вправо. Стена стронулась с места и с негромким скрипом уехала вбок. Понтифик вынул факел из кольца и шагнул внутрь.

В просторной, уходящей во тьму, а потому кажущейся бесконечной, белокаменной зале прямо на полу стояли две длинные шеренги небольших деревянных ларцов. Ларцы были старинные, ветхие, многие – покосившиеся, с отвалившимися крышками, некоторые – вовсе рассыпавшиеся в прах, но некоторые смотрелись ещё вполне исправно, и их покатые узорчатые крышки были плотно закрыты. Но, несмотря на то, что они были закрыты, а может быть, даже заперты на ключ, ларцы эти также были пусты. Золота в них давно уже не было. Теперь здесь, в этой древней тайной кладовой, хранились сокровища куда более значимые, чем обыкновенное заурядное золото. Теперь здесь хранились тайны.

Бонифаций перешагнул через груды истлевших щепок, которые когда-то были одним из ларцов, и подошёл к стоящему у стены огромному, неподъёмному даже на вид, железному сундуку, на крышке которого в мерцающем свете факела проступили витиеватые буквы, складывающиеся в слова – надпись, выполненная на двух языках, романском и греческом, гласила:

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПОНТИФИКА ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Этот сундук появился здесь два с половиной века назад стараниями Папы Дамаса – активного борца с ересью, одним из первых осознавшего опасность двойного толкования исторических документов, практически все из которых на тот момент относились к бесценному наследию, привезённому из Палестины Святой царицей Хеленой. Во время противостояния с самозванцем, романским лже-епископом Урсинном, когда исход борьбы был ещё не вполне ясен и чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону, Папа Дамас, немало опасаясь за сохранность реликвий, а пуще всего – боясь их попадания в руки вероотступников, перенёс все «сомнительные» документы из Латеранского дворца сюда – в самое надёжное из известных ему

убежищ, приказав изготовить для их хранения специальный ковчег. Восемь рабов, доставивших сундук в подземелье, поплатились своими жизнями за прикосновение к папской тайне. Бонифаций поднял факел повыше и посмотрел вглубь зала. Да, вон они лежат: шагах в двадцати, на границе видимости, шевелилась в пляшущем факельном свете груда костей, проступающих, пробивающихся, как трава через листву, сквозь истлевшие почерневшие лохмотья. Рядом светились восковой желтизной высоких лбов выложенные под стеной в ряд черепа.

Ну что ж, хранить тайны непросто. Всякая тайна подобна кровожадному Минотавросу – время от времени она требует человеческих жертв. Она питается людьми, иначе сама рискует не выжить. И чем тайна больше, тем она ненасытнее, тем большее количество жертв необходимо принести к её логову, к её зловещей пещере, к её Лабиринту.

Эти восемь несчастных рабов были не единственными жертвами тайны, хранимой под Ватиканским холмом. Да что там говорить, они не были даже первыми её жертвами! По слухам, пятеро ближайших помощников царицы Хелены, сопровождавшие её в поездке в Хиеросолим, по возвращении из Палестины один за другим умерли от неизвестной скоротечной болезни.

Да, тайны надо уметь хранить. И, пожалуй, каждый из епископов Рому принёс в своё время хотя бы одну жертву чудовищу, обитающему в этой старинной каменоломне. К примеру, предыдущий понтифик, приехав из Константинополя в Рому, первым делом скормил «Минотавросу» кардинала Агапёта, целый год терпеливо дожидавшегося примаса, чтобы передать ему два заветных ключа и тайну железного ковчега, доверенную ему перед смертью Папой Сабинианом. Это жертва состоялась уже на памяти Бонифация. Наверняка, были и другие. И, наверняка, большинство из этих жертв даже не подозревало о том, что они прикоснулись к некоей страшной тайне. Они, как ночные мотыльки, неосторожно приблизившиеся к светильнику, просто упали, обожжённые его пламенем.

Теперь вот Феликс. Феликс Фортунат. Верный помощник. Правая рука. Пожалуй, самый достойный и, уж наверняка, самый преданный из кардиналов...

У понтифика вдруг заныло сердце. Привычная сосущая боль толчками расползлась за грудиной, отдалась под левой лопаткой; длинная горячая игла принялась ритмично колоть в левый локоть. Бонифаций застыл, прижимая левую руку к груди, морщась и терпеливо пережидая приступ... Факел потрескивал и ронял на пол длинные огненные слезинки...

Вскоре боль ослабела. Бонифаций несколько раз глубоко вздохнул, после чего воткнул факел в стоящий возле сундука треножник и вновь извлёк из-под плаща серебряную цепь с ключами. Выбрав на этот раз малый ключ, он присел на корточки перед ковчегом. По передней стенке сундука в два ряда шли многочисленные отверстия. Епископ вставил ключ в четвёртое с правого края отверстие в нижнем ряду и с усилием провернул его вправо. Внутри сундука что-то щёлкнуло. Вытащив ключ, Бонифаций перешёл к верхнему ряду отверстий и, отсчитав одиннадцатое отверстие слева, вставил отмычку в него. Ошибаться было нельзя – при любой неточности в действиях хитрый механизм навсегда блокировал замок, – поэтому епископ трижды пересчитал отверстия, прежде чем решиться провернуть ключ. Снова раздался щелчок, и тяжёлая крышка начала медленно приподниматься. Понтифик помог ей и, распахнув ковчег, поставил крышку на упор.

Перегнувшись через толстый – шириной в ладонь – край сундука, Бонифаций заглянул внутрь. На дне ковчега лежали свитки: папирусные, пергаментные, хорошо сохранившиеся и почти истлевшие – рассыпающиеся на узкие длинные лепестки. Некоторые из них были бережно упакованы в цилиндрические деревянные или кожаные тубы и опечатаны. В углу ковчега невысокой стопкой лежало несколько цер. Понтифик наугад выбрал одну из них – это оказался простенький деревянный диптих – и, раскрыв, поднёс поближе к факелу.

«От коменданта Кесарийской крепости центуриона II пилус приора Луция Спуренния Геркулана советнику префекта трибуну-ангустиклавию Салутарису Калтилию Паквию.

Настоящим докладываю расходы за январь сего DCCLXXXV года по содержанию узника-гостя Иесу сына Иосефа, именуемого также рабби-галилеянином.

- 1. Плащ тёплый шерсти верблюжьей – 18 сестерциев 2 асса.*
- 2. Котурни телячьей кожи доброй выделки – 13 сестерциев 3 асса.*
- 3. Цирюльник – за два визита – 32 сестерция...»*

Епископ вздохнул, закрыл церу и бережно возвратил её в ящик. Да, не дай Бог! Упаси Господи попасть этой цере в руки постороннего. Даже подумать о подобном страшно!

Он развязал суму и принялся перекладывать из неё в сундук зашитые в рогожу, щедро опечатанные свитки. Восемнадцать штук – девять оригиналов и столько же копий-переводов. Новые документы легли аккуратной пирамидкой в одном из углов ковчега. Места в сундуке оставалось ещё достаточно.

Дело было сделано.

Бонифаций снял упор и медленно опустил крышку. Замок щёлкнул.

Понтифик подобрал суму, взял из треножника факел и, не оборачиваясь, пошёл к выходу...

Обратный путь показался ему бесконечным. Каменный коридор всё тянулся и тянулся, и, похоже, вовсе не собирался заканчиваться. Бонифаций шёл, с трудом переставляя ноги, немигающими слезящимися глазами глядя прямо перед собой. Во рту у него было сухо и горько. Сердце болело всё сильнее, и горячая игла вновь колола в левый локоть.

Маленький больной человек упрямо брёл сквозь скальную толщу.

Позади у него была тьма. И впереди у него тоже была тьма. По сторонам, медленно уходя назад, тянулись мимо него глухие каменные стены. И такой же глухой каменный потолок был у него над головой.

Низкий закопчённый потолок вместо бездонного голубого неба...

Конец

*г. Андреаполь
2014-2018 гг.*